

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

...в те года, когда мы ездим в свет...

А. К. Толстой

Чтобы дать представление о том, как создавался третий том «Поисков», нам придется воссоздать общую картину работы над этим самым знаменитым французским романом XX века.

Первая цельная версия «Германтов» (еще не совсем такая, как та, что нам теперь известна) возникла в черновиках 1910–1911 года. В 1913 году, когда вышла из печати первая книга, «В сторону Сванна», Пруст планировал еще только два тома — «Сторону Германтов» и «Возвращенное время», в котором стороны Сванна и Германтов сойдутся вместе. На оборотной стороне обложки «Сванна» издатель Грассе предполагал поместить анонс о том, что «Германты» выйдут в 1914 году. Рукопись «Германтов» была впервые перепечатана набело уже весной 1913 года. Она предназначалась для того же Бернара Грассе (нынешний второй том, «Под сенью дев, увенчанных цветами», тогда еще не планировался). Поэтому рукопись «Германтов» сразу пошла в набор.

Но, пока делались гранки, Пруст узнал о внезапной смерти близкого человека, Альфреда Агостинелли (исследователи считают его прототипом Альбертины, великой любви героя «Поисков»). Самолет, который вел Агостинелли, потерпел крушение над Антибom и упал в море. Писатель был в таком горе, что даже не вскрывал пакеты с гранками, которые присылали из издательства, не говоря уж о том, чтобы вычитывать их и править. Он отложил книгу в сторону и больше к ней не прикасался, а тем временем 3 августа 1914 года Германия объявила Франции войну.

Бернар Грассе был призван в армию и только в 1916 году, в ответ на уговоры Пруста, согласился расторгнуть с ним договор; теперь писатель смог заключить новый договор с издательством «Нуviel Ревю Франсез» («НРФ»), которое затем было преобразовано в «Галлимар». Но, пока шла война, выпустать книги все

равно было невозможно, а тем временем произведение стало развиваться не так, как было предусмотрено. Теперь Пруст писал роман не подряд, а произвольно переходя от одного его места к другому. Та часть, что задумывалась как первая глава «Возвращенного времени», стала разрастаться и в 1915 году уже превратилась в отдельную книгу «Под сенью дев, увенчанных цветами» (нынешний второй том), которой явно надлежало идти после «Сванна». Начиная с 1914 года происходит работа над «Содомом и Гоморрой» (четвертый том), в 1915 году Пруст делает наброски «Пленницы» (пятый том) и дорабатывает «Под сенью дев» (второй), тогда же появляется начало «Исчезновения Альбертины» (шестой том). А над «Обретенным временем» (седьмой том), которое с самого начала задумывалось как завершение, писатель начал работать еще в 1912 году. В сущности, разбиение на семь книг, которое сегодня кажется таким логичным и стройным, было обусловлено скорее издательскими соображениями, чем волей автора или внутренними требованиями композиции. Писатель хотел издать все оставшиеся книги одновременно, ему было чрезвычайно важно, чтобы читатели не воспринимали «Поиски» как серию разрозненных произведений, а почувствовали, что это один большой роман. Он пытался протестовать против произвольного деления романа на отдельные тома: «Это противоречит духу книги». Против такого одновременного издания возражал Гастон Галлимар, которого заботила техническая и коммерческая сторона дела, а Пруст, пользуясь промедлением, все дорабатывал и дописывал «Поиски». В конце концов, как мы знаем, в июне 1919 года, вскоре после окончания войны, вышел из печати том «Под сенью дев». Теперь дело было за «Германтами». Книга была как будто готова, но все еще нуждалась в доработке и исправлениях. Вообще, девятнадцатый год оказался трудным для Пруста: мало того, что здоровье его неуклонно ухудшалось, вдобавок дом на бульваре Осман, где он снимал квартиру с 1909 года, перешел к другому владельцу, и в середине января, едва оправившись от очередной пневмонии, ему пришлось избавляться от мебели, перебираться во временное пристанище и искать другую постоянную квартиру. Больному астмой все это было мучительно. Он переехал в дом, принадлежавший талантливой актрисе Режан, матери его доброго знакомого, снял у нее квартиру на пятом этаже. Владелице дома в это время было уже шестьдесят два года, и временный жилец заимствовал у нее

некоторые черточки, когда описывал старость актрисы Берма. Но в конце лета Режан, как и было предусмотрено их соглашением, попросила жильца освободить квартиру, и в октябре Пруст опять переехал, на сей раз на улицу Адмирала Амлена, в квартиру на шестом этаже, да еще и без лифта; он полагал, что этот переезд опять временный, но новое жилище оказалось последним. Сразу после переезда он вновь взялся за роман и стал пересматривать новые гранки «Германтов», уже поступившие из «НРФ».

Ход работы нарушило радостное, в сущности, событие: в ноябре 1919 года том «Под сенью дев, увенчанных цветами» удостоился Гонкуровской премии. Эта премия стоила автору многих волнений и огорчений, но, с другой стороны, что ни говори, впервые в жизни к нему пришло признание. Не слава, конечно, не успех, но все же признание понимающей публики. Пруст, чувствуя себя переутомленным и больным, обратился к главному редактору издательства «НРФ», критику Жаку Ривьеру, с просьбой прислать ему «кого-нибудь образованного... чтобы читал [ему] вслух гранки первой части „Стороны Германтов“»*. Так в качестве помощника у Марселя Пруста очутился молодой Андре Бретон. Правда, совместная работа оказалась не очень продуктивной: Бретон приходил к нему читать вслух всего один раз, и позже, в письме поэту Филиппу Супо, Пруст жаловался, что в тексте осталось огромное количество опечаток, которые ему пришлось выправлять самостоятельно.

Возглавлявший издательство Гастон Галлимар понимал, что слишком толстые книги отпугивают читателей, и под его нажимом Пруст согласился, хоть и не сразу, на публикацию книги двумя частями. Он торопил издателя, надеялся, что роман еще успеет выйти весь целиком при его жизни, а Галлимар объяснял все новые задержки то забастовками, то нехваткой бумаги и других типографских материалов... Таким образом, первая часть «Германтов» вышла из печати только в октябре 1920 года, а вторая весной 1921-го, под одной обложкой с первой частью «Содома и Гоморры».

Как только вышла из печати первая часть «Германтов», друзья автора — мадам Стросс, Люсьен Доде, Жан Кокто — поспешили его поздравить и выразить свое восхищение, зато вознегодовали те,

* Marcel Proust — Jacques Rivière. *Correspondance 1914–1922*. Paris: Gallimard, 1976. P. 89.

кто усмотрел в персонажах сходство с собой. Маркиз д'Альбуфера узнал себя в Робере Сен-Лу и объявил, что прерывает с Прустом отношения, графиня де Шевинье узнала себя в герцогине Германтской и настолько обиделась, что рассорилась с автором и в гневе сожгла все его письма. Пруст огорчился, Кокто его утешал: «Фабр написал книгу о насекомых, но он же не просил насекомых ее читать». Отклики в прессе были скорее благоприятны, хотя не обошлось без обвинений в снобизме, а это означало, что книгу читают поверхностно, не добираясь до ее смысла. Отзывы на вторую часть «Германтов», да еще объединенную с первой частью «Содома и Гоморры», еще более противоречивы: например, критик Поль Судэ в «Ле Тан» объявляет автора «Бергсоном и Эйнштейном психологического романа», и тут же Бине-Вальмер в «Комедиа» предупреждает читателей об «извращениях, в которых г-н Пруст черпает удовольствие». Но писатель, несмотря на все ухудшающееся состояние здоровья, всю готовит к выходу следующий том, то есть вторую часть «Содома и Гоморры».

Мы уже говорили о том, что процесс работы над «Поисками» кажется несколько хаотичным, в нем много случайностей, неожиданностей, а результат получился на редкость стройный и гармоничный. Не случайно в последнем, седьмом томе герой «Поисков» сравнивает свое произведение с готическим собором, это очень точный образ, дающий представление о том, как сочетается в романе прихотливость с упорядоченностью:

...Чтобы каждый том воспринимался как часть единого целого, писатель... должен готовить свою книгу тщательно, постоянно перестраивая части, как войска во время наступления, терпеть ее, как усталость, повиноваться ей, как правилу, строить, как церковь, соблюдать, как диету, побеждать, как препятствие, завоевывать, как дружбу... И в таких больших книгах есть части, которые вы успели только наметить и, скорее всего, никогда их не кончите, именно из-за обширности плана, замысленного архитектором. Увы, как много огромных соборов остались недостроенными!

И даже при том, что повествование беспрестанно то забегает вперед, в будущее, то возвращается к прошлому, о котором уже было сказано, да и не раз, — если отойти на некоторое расстояние, то ясно видишь: «В сторону Сванна» — это наше детство, «Под сенью дев, увенчанных цветами» — отрочество, «Сторона Германтов» — юность. Рассказчик, с малых лет покоренный поэзией имен,

постигает наконец разницу между именем человека и самим этим человеком, именем города и самим этим городом. Он проникает наконец в таинственный круг, манивший его с тех самых пор, как он любовался в детстве витражами старинной комбрейской церкви и смотрел в волшебном фонаре историю Женевиевы Брабантской, — иными словами, он входит в общество родовой аристократии и как по волшебству обретает дар двойного зрения, дар видеть обычных, не лишенных достоинств, но лишенных тайны и подчас таких забавных людей — и не терять контакта с таинственной, прекрасной стариной и животворной поэзией, прячущимися в их именах.

Скажем два слова о пресловутом психологизме Пруста: сам писатель уверял, что его роман не столько психологический, сколько интроспективный, то есть основан на постоянном самонаблюдении. Видимо, именно поэтому психологические открытия Пруста приложимы к любому из нас.

А о социологическом значении «Германтов», возможно, лучше всех высказался философ Рене Жирар в книге «Романтическая ложь и романная правда»:

Имеет ли книга Пруста социологическую ценность? (...) Пруста, говорят нам, интересует лишь старая аристократия. Его творчеству недостает «охвата и объективности»...*

Да нет же, утверждает философ, ничего подобного:

...Марсель Пруст в большинстве сфер буржуазной и даже народной жизни обнаруживает... бессмысленную борьбу противоположностей, ненависть к сокрытому божеству, изгнание неугодных и мертвящие табу (...)

Благодаря этому постепенному расширению свойственной роману правды понятие снобизма можно распространить на самые разные круги и профессии. В «Поисках потерянного времени» есть снобизм профессоров, врачей, судей и даже горничных. Именно то, как Пруст употребляет слово «снобизм», позволяет ему разработать ту «абстрактную» социологию, которая приложима к любой среде, но особенно действенны ее принципы в самых богатых и праздных слоях общества**.

* *Girard René. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Hachette Littératures, 2004. P. 245.*

** *Ibid. P. 251.*

В «Германтах» Пруст вовсю продолжает играть на мандельштамовской «упоминательной клавиатуре». Но теперь, когда мы отправились в сторону Германтов, к именам писателей, художников, музыкантов, исторических деятелей добавился чуть не весь Готский альманах, причем вполне реальные аристократические фамилии уживаются на страницах романа с вымышленными. Поэтому книга снабжена довольно подробными примечаниями, которые могут быть интересны тем, кто хотел бы заглянуть в рабочий процесс писателя, понять, почему он приводит такую-то цитату или упоминает такое-то событие, какого героя он придумал, а какого списал с натуры. Однако мы избегаем слишком углубляться в генеалогические дебри, предоставляя наиболее любознательным читателям проводить самостоятельные исследования на этот счет.

Цитаты в предисловии, тексте и комментариях переведены мной, за исключением тех случаев, когда указано имя переводчика.

Напоследок спешу поблагодарить тех, без чьей помощи этот том, кстати самый длинный из семи, едва ли увидел бы свет. Благодарю за консультации и поддержку моего учителя и коллегу профессора Жозефа Брами, а также мою коллегу Катрин Келли за постоянную помощь в работе над французским текстом; моих редакторов Елену Березину и Алину Попову за самоотверженную и строгую правку; всех друзей, читавших первые варианты перевода, помогавших искать ссылки, поддерживавших меня и ободрявших, в первую очередь Наталью Мавлевич, Семена Шлосмана, Софи Бенеш и многих, многих других.

Елена Баевская

**СТОРОНА
ГЕРМАНТОВ**



*Леону Доде,
автору «Путешествия Шекспира», «Дележа ребенка»,
«Черного светила», «Призраков и живых», «Мира об-
разов» и многих других шедевров.
Несравненному другу, в знак признательности и вос-
хищения.*

М. П.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Утренний щебет птиц раздражал Франсуазу. Она вздрагивала от каждого слова, доносившегося сверху, с этажа «горничных»; их шаги ее тревожили, она гадала, кто это там ходит; а все потому, что мы переехали. Конечно, на седьмом этаже нашего старого жилья прислуга сновала взад и вперед не меньше, но там Франсуаза всех знала и в каждом шуме ей слышался дружеский привет. А теперь даже к тишине она прислушивалась с болезненным вниманием. Наш новый квартал был тихим, а бульвар, на который выходило наше старое жилье, — шумным, и от пения случайного прохожего (даже издали звучавшего отчетливо, как основная тема в оркестре) на глаза изгнанницы Франсуазы наворачивались слезы. Я смеялся над ней, пока она, удрученная тем, что приходится покинуть дом, «где нам отовсюду было сплошное уважение», по заведенному в Комбре обычаю с рыданиями укладывала сундуки и причитала, что наш старый дом несравнимо лучше любого другого; но я ведь и сам так трудно осваивался со всем новым, хотя со старым расставался легко; поэтому, видя, как она изнемогает из-за переезда в дом, где швейцар нас еще не знал и не оказывал Франсуазе почтения, необходимого ей для правильного питания души, я внутренне примирился с нашей постаревшей служанкой. Она-то могла меня понять, не то что молоденький лакей, который был и не из Комбре вовсе и ничего общего с Комбре не имел: для него переезд в другой квартал был вроде каникул, и смена обстановки бодрила его, как путешествие; ему казалось, что мы за городом, и напавший на него насморк, словно простуда, которую подхватываешь в вагоне, где дует из окна, давал ему восхитительное чувство, будто он недавно любовался природой; чихая, он вся-

кий раз радовался, что ему подвернулось такое шикарное место, — ведь он всегда хотел служить у хозяев, которые много путешествуют. Поэтому, не думая о нем, я пошел прямо к Франсуазе; но за то, что при отъезде я насмеялся над ее слезами, теперь она с ледяным равнодушием отнеслась к моей печали, именно потому, что и сама чувствовала то же самое. У возбудимых людей вместе с их воображаемой «чувствительностью» обостряется эгоизм: они терпеть не могут, когда другие выставляют напоказ недуги, которые все больше и больше беспокоят их самих. Франсуаза прислушивалась к малейшему своему недомоганию, но, если болел я, отворачивалась, чтобы не порадовать меня своей жалостью или хотя бы просто тем, что заметила, как мне худо. Когда я попытался поговорить с ней о нашем новом доме, она повела себя точно так же. Впрочем, через дватри дня, пока меня еще «температурило» от последствий переезда и я, словно удав, недавно проглотивший быка, чувствовал, как у меня при виде длинного сундука, который моему взгляду предстояло «переварить», мучительно выпячиваются выпуклости и шишки, Франсуазе пришлось сходить на старую квартиру за забытыми носильными вещами, и, переменчивая, как все женщины, она потом рассказывала, что чуть не задохнулась на нашем бывшем бульваре, что по дороге она «наплуталась», что в жизни не видела таких неудобных лестниц, как в том доме, и что не вернется туда жить «ни за какие коврижки», пускай ей хоть миллионы посулят (предположение, ни на чем не основанное), и что в нашем новом жилище все — то есть кухня и коридоры — «налажено» куда лучше. Самое время сказать, что переехали мы ради бабушки, хотя ей об этом говорить остерегались (она начала прихварывать, и ей нужно было больше свежего воздуха), и что наша новая квартира примыкала к особняку Германтов.

В том возрасте, когда мы прозреваем в Именах образ непознаваемого, который сами же в них вложили, они по-прежнему означают для нас и реальное место, тем самым заставляя нас приравнять одно к другому, — и вот в каком-нибудь городе мы ищем душу, а ее там нет и быть не может, но мы уже бесильны изгнать ее из имени этого места; причем мало того, что

имена, уподобляясь аллегорическим картинам, придают индивидуальность городам и рекам, испещряют их разными узорами, населяют чудесами, — то же самое они проделывают и с чуждой нам социальной средой: они внушают нам веру, что в каждом знаменитом замке, особняке или дворце обитает его владычица или фея, точно так же, как обитает дриада в каждом лесу и наяда в каждом ручье. Иногда фея, прячущаяся на дне своего имени, преобразается в угоду нашему воображению, которое ее питает; так атмосфера, окружавшая у меня в душе герцогиню Германтскую, годами оставалась лишь отсветом стеклышка из волшебного фонаря да отблеском церковного витража, а потом, когда совсем другие мечты пронизали эту атмосферу пенной влагой бурных потоков, ее краски постепенно померкли.

Но фея чахнет, если мы сближаемся с реальным человеком, который носит то же имя, потому что теперь уже имя отражает этого человека, а у него нет ничего общего с феей, хотя она еще может воскреснуть, если мы от него отдалимся; но если мы останемся рядом с ним, фея умрет навсегда, а вместе с ней исчезнет имя; так роду Лузиньянов было предначертано угаснуть в тот день, когда сгинет фея Мелюзина. И если раньше, уцелев под позднейшими записями, на поверхности Имени могло проступить первоначальное изображение, прекрасный портрет незнакомки, которой мы никогда не встречали, то теперь оно превращается в обыкновенную фотографическую карточку, в которую мы заглядываем, чтобы понять, знаем ли мы проходящую мимо даму и нужно ли с ней раскланиваться. Ведь стоит ощущению, знакомому по минувшим годам (подобно записывающему музыкальному инструменту, хранящему звук и манеру игры музыкантов, которые на нем играли прежде), извлечь из нашей памяти звук этого имени с тем особым тембром, который улавливало в нем наше ухо в те прежние времена, — и сразу, хоть имя вроде бы все то же, мы уже чувствуем, сколько времени пролетело между мечтами, которые в разные эпохи нашей жизни означал для нас этот звук. На мгновение услышав опять ту самую листву, что шелестела давно минувшей весной, мы извлечем из нее, как из тюбиков с краской, верный оттенок, забытый, таинственный и свежий оттенок дней, которые мы, казалось, по-

мнили и раньше, пока, словно плохие художники, располагали все наше прошлое на одном холсте, изображая его в условных и однообразных тонах произвольной памяти. А на самом деле наоборот, каждый миг этого прошлого, запечатленный в творческом порыве, слагался в особую гармонию, был прописан тогдашними красками, о которых мы теперь уже понятия не имеем, и только иногда они внезапно пленяют нас, если, к примеру, спустя столько лет нашего слуха коснется имя Германт, и на мгновение прозвучит не по-нынешнему, а так, как звучало оно для меня в день, когда выходила замуж мадмуазель Перспье, и вернет мне тот самый сиреневый цвет, такой неправдоподобно нежный, новенький, бархатистый цвет пышного шарфика, что был на молодой герцогине, и цвет ее глаз, подобных цветущим барвинкам, которые нельзя сорвать, барвинкам, осененным лучистой улыбчивой синевой. А еще имя Германт, прилетевшее из тех времен, похоже на шарик, наполненный кислородом или другим газом: когда мне удастся его проколоть, извлечь из него то, чем он надут, я вдыхаю тот же комбрейский воздух, что в давнишний год, в давнишний день, воздух, смешанный с запахом боярышника, колеблемого ветерком, прорывавшимся из-за угла на площадь, предвестником дождя, ветерком, который время от времени сдувал солнце в сторону и расстилал его лучи поверх шерстяного красного ковра в ризнице, примешивая к алому цвету ослепительно розовый, чуть не телесный оттенок герани и какую-то вагнерианскую нежность, что добавляла столько благородства праздничному ликованию. Нам редко выпадают подобные минуты в головокружительном водовороте повседневности, где имена служат чисто практическим целям, где они обесцвечиваются, подобно пестрой юле, которая кружится так быстро, что кажется не цветной, а серенькой, — и разве что изредка мы нет-нет да и почувствуем, как в недрах совсем уже мертвых, выдохшихся звуков дрожит и обретает свою изначальную форму, свой прежний силуэт изначальная сущность имен; зато, когда мы задумываемся и, желая вернуться к прошлому, пытаемся мысленно замедлить, приостановить вечное движение, пока оно тащит нас все дальше и дальше, — постепенно перед нашим взором возникают в одном ряду, но совершенно

отдельно друг от друга, все оттенки, которые на протяжении нашей жизни являло нам последовательно одно и то же имя.

Вероятно, какой-то образ мерещился мне, когда моя кормилица, не зная, как и я до сих пор не знаю, о ком сложена ее старинная песенка, баюкала меня, напевая «Слава маркизе Германтской», или несколькими годами позже, когда моя няня преисполнялась гордости, если старенький маршал Германт оставался на Елисейских Полях и со словами: «Какой милый ребенок!» извлекал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету, но тут уж я ничего не знаю. Годы моего раннего детства мне уже не принадлежат, не имеют ко мне отношения, я знаю о них только из рассказов других людей, не больше, чем о том, что было до моего рождения. Но позже это самое имя постепенно вызывает у меня в памяти по очереди семь-восемь разных лиц; самыми прекрасными были самые первые, но потом действительность мало-помалу теснила меня с рубежей, которые я не в силах был удержать, и я отходил на прежние позиции, а в конце концов и вовсе отступал. Герцогиня Германтская постоянно перелетала из одного замка в другой, причем каждый замок выстраивался из ее имени, год от году вбиравшего в себя соки из невзначай услышанных мною слов, вносивших поправки в мои мечты; и тогда уже эти мечты начинали отражаться в камнях замка, которые оказывались зеркальными, как поверхность облака или озера. Сеньор и его дама вершили судьбы своих вассалов с вершины донжона, плоского, как лист бумаги (на самом деле это была просто оранжевая полоска света на небе), и донжон этот высился на самом краю «стороны Германтов», в которую мы с родителями столько раз ходили ясными днями по течению Вивонны, а позже сменился страной, пронизанной бурными потоками, где герцогиня учила меня ловить форель и говорила, как называются багрово-фиолетовые цветы, гроздьями ниспадавшие с низких оград окрестных садов; за садами начинались наследственные владения, поэтические земли, из которых, подобный испещренной геральдическими цветками золотистой башне, дошедшей до нас из глубины веков, вздымался над Францией горделивый род Германтов, — и было это, когда еще пустовали небеса там, где позже вырастут соборы

Парижской и Шартрской Богоматери; когда на холме над городом Ланом еще не вознесся собор, словно ковчег на вершине горы Арарат после потопа, полный патриархов и праведников, тревожно глядящих из окон и гадающих, настал ли конец гневу Господню, тот самый ковчег, несущий в себе семена всевозможных растений, что потом разрастутся по всей земле, тот самый ковчег, полный скота, рвущегося наружу и чуть ли не лезущего вверх на башни, так что быки уже мирно бродят по крыше и смотрят сверху на равнины Шампани, — но путешественнику, под вечер покидающему Бовэ, еще не видны провожающие его по всем поворотам дороги, расправленные на золотом закатном фоне черные раскидистые крылья собора. Этот замок Германт был похож на место, где развернется действие романа, это был воображаемый пейзаж, который мне так трудно было себе представить, а потому так хотелось увидеть, — Германт, подобный острову посреди реальных земель и дорог, которые вдруг в каких-нибудь двух лье от вокзала преисполнялись геральдических подробностей; я так помнил имена соседних городков и деревень, словно они были расположены у подножия Парнаса или Геликона, и они представлялись мне бесценными, ведь это были, в смысле топографии, материальные условия, необходимые для того, чтобы свершилось нечто таинственное. Я вновь видел гербы, повторявшиеся в нижней части комбрейских витражей; век за веком каждую их четверть заполняли владения, которые благодаря бракосочетаниям и приобретениям слетались в этот властительный дом из всех уголков Германии, Италии и Франции: необъятные северные земли и богатые южные города примыкали к Германту, становились его частью и, теряя свою материальность, аллегорически вписывали свой зеленый донжон или серебряный замок в его лазурное поле. Я слышал о знаменитых шпалерах Германтов и видел, как эти шпалеры, средневековые, синие, слегка грубоватые, выделяются, словно облако, на фоне имени, багряного и легендарного, на опушке древнего леса, где когда-то охотился Хильдеберт, и, вглядываясь в этот чистый таинственный фон, в эти земли, в эти уходящие вдаль столетия, я воображал, что, наподобие странника, запросто проникну в их секреты, если на мгновение перене-

суть в Париж герцогини Германтской, властительницы здешних мест и дамы озера, словно в ее лице и словах заключены и особая прелесть местных лесов и равнин, и все те несравненные черты старины, что и в ветхом своде законов из ее архивов. Но потом я познакомился с Сен-Лу и узнал от него, что замок называется Германт только с XVII века, когда его купила семья Германтов. До того они жили по соседству, а их титул ведет свое происхождение не из этого края. Деревню Германт построили после замка и дали ей то же имя; до сих пор имеет законную силу документ, оговаривающий ограничения в планировке улиц и в высоте домов, а все для того, чтобы не закрывать вид из замка. А шпалеры изготовлены по рисункам Буше, куплены в XIX веке одним из Германтов, любителем изящных искусств, и развешаны рядом с посредственными сценами охоты, которые написал он сам, в отменно уродливой гостиной, отделанной кумачом и плюшем. Этими разоблачениями Сен-Лу привнес в имя Германтов посторонние примеси, и я уже не мог, как раньше, выстраивать стены замка исключительно из звуков его названия. И тогда внутри этого имени истаял замок, отраженный в озере, так что теперь жилищем, обрамлявшим жизнь герцогини Германтской, представлялся мне ее парижский особняк, особняк Германтов, хрустальный, как ее имя, ведь ничто мутное, ничто материальное не затуманивало и не нарушало его прозрачности. Известно, что церковь — это не только сам храм, но и собрание верующих; вот так и особняк Германтов вобрал в себя всех, кто участвовал в жизни герцогини, но эти ее близкие, которых я никогда не видел, оставались для меня лишь именами, овеванными славой и поэзией, и знались они исключительно с теми, кто тоже оставался именем, а потому тайна герцогини становилась все глубже и неприступней, окруженная их необъятным, постепенно сходящим на нет ореолом.

Я и мысли не допускал, что у гостей на ее праздниках могут быть тела, усы, ботинки, что они могут произнести что-нибудь не только банальное, но даже оригинальное на обычный, разумный и человеческий лад, а потому водоворот имен, не более материальный, чем пиршество призраков или бал привидений, клубившийся вокруг статуэтки из саксонского фарфора,

то есть герцогини Германтской, оставался прозрачным, будто окна ее стеклянного особняка. Позже, когда Сен-Лу рассказал мне занятные истории о капеллане его кузины, о ее садовниках, особняк Германтов превратился, подобно какому-нибудь Лувру в стародавние времена, во что-то вроде замка, окруженного прямо посреди Парижа угодьями, унаследованными по древнему праву, чудом дошедшему до наших дней, — и на этих землях по-прежнему сохранялись все ее феодальные привилегии. Но и это последнее пристанище развеялось, когда мы переехали поближе к маркизе де Вильпаризи, в одну из квартир по соседству с герцогиней Германтской, расположенную во флигеле, примыкавшем к ее особняку. Это был один из старых больших домов, какие, наверно, можно увидеть еще и сейчас; часто на парадный двор такого дома — не то нанесенные набегающим валом демократии, не то доставшиеся по наследству от старых времен, когда представители разных ремесел жались поближе к сеньору, — выходили задние комнаты лавчонок и мастерских, а то и будка сапожника или закуток портного: в те времена, когда эстетика строителей еще не обрекала такие строеньица на снос, они мостились к бокам соборов: тут вам и швейцар-сапожник, который к тому же разводит кур и цветы, а в глубине, в той части дома, что считается, собственно, «особняком», — «графиня», выезжающая в ветхой коляске, запряженной парой лошадей, в шляпке, осененной настурциями, судя по всему, сбежавшими из садика при ложе швейцара, причем рядом с кучером садится лакей, соскакивающий с козел, чтобы занести визитные карты с загнутыми уголками в каждый аристократический особняк в округе, а хозяйка знай себе улыбается и слегка машет рукой всем без разбору, детям привратника и горожанам, снимающим помещения в доме, которых она в презрительной своей любезности и эгалитарном высокомерии вечно путает.

В доме, куда мы переехали, важная дама, живущая в глубине двора, была элегантна и еще молода. Это была герцогиня Германтская, и благодаря Франсуазе я вскоре кое-что узнал о нашем особняке. Дело в том, что Германты (которых Франсуаза

часто называла «нижние» или «те внизу») были предметом ее неустанного интереса с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неудержимый, беглый взгляд на двор и говорила: «Надо же, две монахини, ну ясно, эти к нижним идут» или «Ох какие фазаны чудные в окне кухни, понятно, откуда такие взялись, это герцог охотился», — и до самого вечера, когда, подавая мне все, что нужно для отхода ко сну, она, бывало, слышала звуки фортепьяно, отзвук песенки, и делала вывод: «У тех внизу гости, ишь веселятся», и ее правильное лицо, обрамленное совсем уже седыми волосами, озарялось юной улыбкой, воодушевленной и благопристойной, благодаря которой ее черты на миг разглаживались, проникались жеманным лукавством, как перед контрдансом.

Но больше всего возбуждал интерес Франсуазы, больше всего радовал ее и терзал тот миг, когда распахивались обе створки входных дверей и герцогиня садилась в коляску. Обычно это происходило вскоре после того, как у наших слуг завершалось священнодействие, коего никому не дозволено было прерывать, то есть обед; в это время они были «табу», и даже отец и тот не смел беспокоить их звонками, понимая, впрочем, что никто не побеспокоится ни на первом звонке, ни на пятом, так что этот неподобающий поступок он совершит без всякого толку и себе же во вред. Ведь с тех пор как Франсуаза постарела, она по каждому удобному поводу напускала на себя неодобрительный вид, и на лице ее, испещренном красными клинышками прожилков, невнятно отражалась долгая память о ее сетованиях и о подспудных причинах ее недовольства. Впрочем, она высказывала их и вслух, но так, в воздух, так что мы не могли расслышать как следует то, что она говорила. У нее это называлось причитать целый божий день: ей казалось, что так оно нам досаднее, обиднее и вообще оскорбительнее.

Покончив с последними ритуалами, Франсуаза, которая, как в церквах первых христиан, воплощала в себе и пастыря и паству, наливала себе последний бокал вина, снимала с шеи салфетку, сворачивала ее, вытирая с губ последние винные и кофей-

ные капли, продевала ее в кольцо, скорбным взором благодарила «своего» юного лакея, предлагавшего ей в избытке усердия: «Еще немножко винограда, мадам, уж очень хорош», и поскорей шла открывать окно под тем предлогом, что «в этой мерзкой кухне» слишком жарко. Поворачивая ручку оконной рамы, чтобы высунуться и подышать свежим воздухом, она тем временем уже успевала равнодушно оглядеть двор и убеждалась, что герцогиня еще не готова; на мгновение ее горящий презрительный взгляд задерживался на упряжке, а затем глаза ее, уделив каплю внимания земной суете, обращались к небесам: она заранее чувствовала, как безоблачно небо, как свеж и чист воздух, как пригревает солнце, и в уголке под крышей находила местечко, где каждую весну прямо под трубой от камина в моей комнате вили гнездо голуби, точь-в-точь такие, как те, что ворковали у нее на кухне в Комбре.

«Ох, Комбре, Комбре», — взывала она. (И так напевно звучал ее голос, пока она причитала, и таким по-арльски ясным было ее лицо, что можно было заподозрить, будто она родилась на юге и утраченная родина, которую она оплакивает, — это ее вторая, новая родина. Но скорее всего это было бы заблуждением: ведь, в сущности, в каждой провинции есть свой «юг» и у множества савойцев или бретонцев проскальзывают в голосе эти певучие чередования долгих и кратких, по которым узнается южный говор.) «Ох, Комбре, кабы вновь тебя увидеть, край ты мой любимый! Кабы день-деньской глядеть на твой боярышник да на сирень нашу бедную, да слушать зябликов, да Вивонну, как она журчит себе, ровно кто-то шепчется, а не эту проклятую сонетку, а то наш молодой хозяин и полчаса не посидит, чтобы не позвонить, и я знай себе несусь по этому проклятому коридору. Да еще ему и не угодишь, медленно бегу, ему хочется, чтобы я слышала до того, как он позвонит, а как на минуточку замешкаешься, он уже беснуется. Ох, бедный мой Комбре! Не увижу тебя небось, пока не помру, пока не швырнут меня, как камень, в могилу. И не услышу я оттуда, как пахнет наш дивный белый боярышник. Но сдается мне, что даже в могиле я буду слышать три звонка проклятой сонетки, которые мне и так уже всю жизнь отравили».

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика. <i>Е. Баевская</i>	5
--	---

СТОРОНА ГЕРМАНТОВ

Часть первая	13
Часть вторая	329
Примечания. <i>Е. Баевская</i>	620